

# Антуан де Сент-Экзюпери. Письмо заложнику



## Цитаты из произведения Письмо заложнику:

- Друзья, готовые нам помочь, находятся быстро. Куда труднее заслужить друзей, которые ждут помощи от нас.
- Долго надо взращивать дружбу, прежде чем друг предъявит на тебя права.
- Ты принимаешь меня таким, какой я есть, и потому, если надо, примишься и с моими рассуждениями и с поступками.
- Порядок создаётся жизнью, но сам он жизни не создает.
- Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, где вольно дышится!
- Часто улыбка и есть главное. Улыбкой благодарят. Улыбкой вознаграждают. Улыбкой дарят тебе жизнь. И есть улыбка, ради которой пойдёшь на смерть.

## I

В декабре 1940 года, по дороге в Америку, я проезжал через Португалию,  
и Лиссабон показался мне каким-то светлым и грустным раем. В

ту пору там  
было много разговоров о неминуемом вторжении, и Португалия  
судорожно  
цеплялась за свое призрачное счастье. В Лиссабоне устроили  
великолепную,  
невиданной прелести выставку, и столица улыбалась через силу –  
так улыбается  
мать, когда нет вестей от сына с войны, стараясь его спасти  
своей верой:  
«Мой сын жив, ведь я улыбаюсь...» Вот и столица Португалии  
словно говорила:  
«Смотрите, я так безмятежна, я такая мирная и светлая...» Весь  
материк  
нависал над Португалией, словно угрюмая гора, где рыщут орды  
хищников, а  
праздничная столица бросала Европе вызов: «Разве можно на меня  
напасть, ведь  
я так стараюсь не прятаться! Ведь я так беззащитна!..»  
У меня на родине города по ночам были серые, как пепел. Я  
отвык там от  
света, и при виде сияющего огнями Лиссабона беспокойно и  
смутно становилось  
у меня на душе. Когда предместье окутано тьмой, бриллианты в  
чересчур ярко  
освещенной витрине привлекают грабителей. Чувствуешь, как они  
подбираются  
ближе. Я чувствовал – над Лиссабоном нависает ночь Европы, и в  
ночи кружат  
стаи бомбардировщиков, точно они издалека почуяли драгоценную  
добычу.  
Но Португалия силилась не замечать алчного чудовища. Она не  
хотела  
верить зловещим знамениям. Вверяясь самообману отчаяния, она  
говорила только  
об искусстве. Неужели ее посмеют раздавить – ее, служительницу  
искусства?  
Она извлекла на свет все свои чудеса – неужели ее посмеют

раздавить среди  
таких чудес? Она выставила напоказ своих великих людей. Пусть  
у нее нет  
армии, нет пушек – от железа и стали захватчика она  
заслонила часовыми из  
камня: своими поэтами, своими землепроходцами и  
первооткрывателями. Пусть у  
нее нет армии, нет пушек – захватчику преградит дорогу ее  
прошлое. Неужели  
ее посмеют раздавить – ее, наследницу столь славного прошлого?  
Каждый вечер я в невеселом раздумье бродил по этой прекрасной  
выставке;  
то был образец тончайшего вкуса, все здесь было на грани  
совершенства, даже  
музыка – неброская, выбранная с таким тактом, она струилась  
среди садов  
мягко, скромно, будто бесхитростная песня родника. Неужели  
погубят это  
удивительное чувство гармонии?  
И через силу улыбающийся Лиссабон казался мне еще грустней  
моих  
погасших городов.  
Я знавал – быть может, знавали и вы – немного странные семьи,  
где за  
столом сохраняют место умершего. Здесь отвергают непоправимое.  
Но мне  
кажется, этот вызов судьбе не утешает. Надо признать, что  
мертвые – мертвы.  
И тогда мы вновь, хоть и по-иному, ощущаем их присутствие. А в  
таких семьях  
им мешают возвратиться. Из умерших делают вечных изгнанников,  
гостей,  
которые навсегда опоздали к трапезе. Траур здесь променяли на  
ожидание,  
лишенное смысла. Мне казалось, такие дома поражены неисцелимым  
недугом,  
который душит сильнее, чем горе. О Господи, смирился же я и

надел траур,  
когда потерял Гийоме, последнего моего друга (он разбился со своим почтовым самолетом). Гийоме уже не переменится. Никогда больше он меня не навестит,  
но и не покинет меня никогда. Я пожертвовал бесполезной ловушкой – его прибором за моим столом – и в умершем вновь обрел настоящего друга.

А Португалия пыталась верить в счастье, сохраняла его прибор за столом,

его праздничные фонарики, его музыку. Лиссабон прикидывался счастливым в надежде, что и Господь Бог поверит в это счастье.

Самый воздух Лиссабона казался еще тягостней из-за иных беженцев. Я

говорю не об изгнанниках, которые искали здесь убежища. Не о переселенцах,

искавших землю, которую они могли бы возделывать своими руками. Я говорю о

тех, кто покинул родину, оставил в беде соотечественников, лишь бы спасти

свой кошелек.

Мне не удалось поселиться в самом Лиссабоне, и я жил в Эшториле, подле

казино. Я попал сюда прямо из пекла: девять месяцев подряд моя авиагруппа

непрерывно летала над Германией и только за время немецкого наступления

потеряла три четверти летного состава. Потом я возвратился на родину, ощутил

угрюмую тяжесть неволи и угрозу голода. Я изведаль непроглядную ночь, которая

придавила наши города. А теперь в двух шагах от меня казино Эшторила каждый

вечер наполняли привидения. Неслышные «кадиллаки», притворяясь, будто им

есть куда спешить, подкатывали по мельчайшему песку и высаживали их у подъезда. Привидения красовались в вечерних туалетах, совсем как в былые времена. Они щеголяли крахмальными манишками или жемчугами. Они приглашали друг друга на обеды и ужины, но то было застолье статистов: им не о чем было говорить. Потом они играли в рулетку или в баккара, смотря по деньгам. Иногда я заходил на них взглянуть. Глядел не с возмущением и не с насмешкой, но со смутной тревогой. Так тревожно бывает глядеть в зоологическом саду на последних потомков какой-нибудь вымершей породы. Они рассаживались вокруг столов. Теснились поближе к бесстрастному крупье и лезли вон из кожи, лишь бы ощутить надежду и отчаяние, испуг, зависть и ликование. Как будто они живые. Они играли на состояния, которые в эту самую минуту, быть может, обращались в пустой звук. Расплачивались монетой, быть может, уже обесцененной. Акции, запертые в их сейфах, обеспечивались заводами, которые, может быть, уже конфисковали оккупанты или вот-вот разнесет в пыль авиабомба. Эти люди выдавали векселя на Сириус. Они цеплялись за прошлое, словно в последние месяцы ничто в мире не рушилось, и пытались верить, будто они вправе предаваться игорной лихорадке, будто чеки их надежно обеспечены и договоры заключены навечно. Это было как во сне. Какой-то кукольный театр. И

это было грустно.

Конечно же ничего они не способны были ощутить. Я уходил от них. Шел на взморье глотнуть свежего воздуха. И мне казалось, что море Эшторила, курортное, прирученное море, тоже участвует в их игре. Оно влачило по заливу одну-единственную вялую волну, и волна сверкала под луной, как шлейф бального платья, совсем не к месту и не ко времени.

На борту парохода я опять их встретил, этих беженцев. И пароход тоже вызывал неясную тревогу. Он переправлял их – растения без корней – с одного материка на другой. Я говорил себе: «Хочу быть путешественником, не хочу быть эмигрантом. На родине я научился многому, что будет бесполезно в чужих краях». Но вот мои эмигранты достают из карманов записные книжки – последние приметы их былой причастности к реальному миру. Они еще притворяются живыми. Из всех сил стараются придать себе вес.

– Знаете, я такой-то, – говорят они. – Я из такого-то города... друг такого-то... знакомы вы с таким-то? И рассказывают про какого-нибудь приятеля, или про какие-то свои обязательства, или какой-то промах – про что угодно, лишь бы эта история помогла им хоть с чем-нибудь установить связь. Но все связи с прошлым распались, ибо эти люди покинули родину. Прошлое еще дышит теплом, оно еще так свежо, так живо – таким бывает вначале воспоминание о любви. Собираешь в

пачку письма, полные нежности. Присоединяешь к ним милые сердцу памятки.  
Заботливо все это перевязываешь. И на первых порах такая святыня источает  
грустное очарование. А потом пройдет мимо светловолосая девушка с голубыми  
глазами – и святыня умирает. Ибо и старый приятель, и старые обязательства,  
и родной город, и память о доме – все выцветает, если ничему больше не  
служит.  
И эмигранты это чувствовали. Как Лиссабон прикидывался безмятежным, так  
они прикидывались, будто верят в скорое возвращение. До чего безобиден уход  
блудного сына! Уход этот мнимый, ведь позади остался отчий дом. Уходишь ли в  
другую комнату или на другую сторону планеты, разница не так уж велика.  
Присутствие друга, который где-то далеко, подчас ощутимей, чем его  
присутствие во плоти. Такое чувство рождает молитва. Никогда я так не любил  
родной дом, как в пору, когда очутился в Сахаре. Никогда ни один жених не  
был ближе к своей нареченной, чем бретонские моряки, что в XVI веке огибали  
мыс Горн и отдавали свою молодость борьбе со встречным ветром. Едва они  
уходили в плаванье, для них уже начинался обратный путь. Загрубелыми руками  
поднимая паруса, они готовили свое возвращение. Самая короткая дорога из  
бретонской гавани к дому невесты вела вокруг мыса Горн. А вот эмигранты мне  
казались бретонскими моряками, у которых отняли оставленных в Бретани

невест. Любимая уже не засветит для них в окне скромный огонек. Они отнюдь не блудные сыны. У этих блудных детей нет дома, куда можно бы возвратиться.

Вот тут-то и начинаются подлинные скитания – скитания вне собственной души.

Как создать себя заново? Как распутать тяжелый клубок воспоминаний?

Этот призрачный корабль, словно некое чистилище, нес на себе груз еще не

родившихся душ. Живыми и подлинными, столь подлинными, что хотелось их

коснуться, оставались только те, кто был неотделим от парохода, облагорожен

настоящим делом – кто разносил подносы с едой, драил медяшку, чистил обувь и

с чуть заметным презрением обслуживал мертвецов. Команда смотрела на

эмигрантов немного свысока вовсе не потому, что те были бедны. Им

недоставало не денег, но весомости. Эмигрант уже не был членом такой-то

семьи, другом такого-то, человеком с такими-то обязательствами. Каждый еще

играл свою роль, но все это была неправда. Никто в них больше не нуждался,

никто не ждал от них помощи. Какое чудо – телеграмма, которая переполошит

тебя, глубокой ночью поднимет с постели, погонит на вокзал: «Приезжай! Ты

мне нужен!» Друзья, готовые нам помочь, находятся быстро. Куда труднее

заслужить друзей, которые ждут помощи от нас. Да, конечно, эти призраки не

будили ничьей ненависти и зависти, никто им не докучал. Но никто и не любил

их по-настоящему. Я говорил себе: едва они сойдут на берег, их

в знак  
сочувствия засыплют приглашениями на коктейли, на званые  
обеда. Но кто  
станет стучаться к ним в дверь, кто потребует: «Открой! Это  
я!» Долго надо  
вскармливать молоком младенца, прежде чем он сам начнет  
требовать грудь.  
Долго надо возвращать дружбу, прежде чем друг предъявит на  
тебя права.  
Поколение за поколением должно разориться, поддерживая  
обветшалый замок,  
который вот-вот рухнет, – тогда лишь научишься его любить.

## II

И я говорил себе: «Главное – чтобы где-то сохранялось все, чем  
ты жил  
прежде. И обычаи. И семейные праздники. И дом, полный  
воспоминаний. Главное  
– жить для того, чтобы возвратиться...» Я чувствовал: самая суть  
моя в  
опасности, оттого что так хрупки далекие магнитные полюсы, без  
которых я –  
ничто. Мне грозила опасность узнать доподлинную пустыню, и я  
начал постигать  
тайну, которая давно уже меня занимала.  
Когда-то я прожил три года в Сахаре. И я, как многие другие,  
пытался  
постичь, чем же она завораживает и покоряет. Казалось бы, там  
только и есть  
что одиночество и лишения – но всякий, кому случилось побывать  
в пустыне,  
тоскует по тем временам, как по самой счастливой поре своей  
жизни. «Тоска по  
бескрайним пескам, тоска по одиночеству, тоска по простору» –  
все это лишь  
слова, литературные штампы, и ничего они не объясняют. А вот

здесь, на борту  
парохода, битком набитого пассажирами, я, кажется, понял, что  
же такое  
пустыня.  
Да, конечно, в Сахаре, сколько хватает глаз, видишь все тот же  
песок,  
вернее, обкатанную временем гальку (песчаные дюны там  
редкость). Там ты  
вечно погружен в неизменное однообразие скуки. И однако,  
незримые божества  
создают вокруг тебя сеть притяжений, путей и примет –  
потаенную живую  
мускулатуру. И уже нет однообразия. Явственно определяются  
знаки и вехи. И  
даже тишина всякий раз иная.  
Бывает тишина мирная, когда утихает вражда племен и вечер  
приносит  
прохладу, и кажется – ты остановился в безмятежной гавани и  
спустил паруса.  
Бывает полуденная тишина, когда под давящим солнцем – ни  
мысли, ни движения.  
Бывает тишина обманчивая, когда замирает северный ветер, когда  
мотыльки и  
стрекозы – цветочная пыльца, взметенная из глубинных оазисов,  
– предвещают  
песчаную бурю с востока. И тишина недобрая, когда узнаешь, что  
в шатрах  
дальнего племени зреет заговор. И тишина загадочная, когда  
между арабами  
завязываются тайные переговоры. И напряженная тишина, когда  
ждешь гонца, а  
он все не возвращается. И пронзительная ночная тишина, в  
которую  
вслушиваешься, затаив дыхание. И тишина, полная грусти, когда  
вспоминаешь  
тех, кого любишь.  
Все тяготеет к полюсам. Каждая звезда указывает верный путь.

Все они –  
звезды волхвов. Каждая служит своему богу. Вон та указывает  
путь к далекому,  
почти недостижимому роднику. И даль, что отделяет тебя от  
этого родника,  
гнетет, точно крепостной вал. А эта указывает на родник,  
который давно  
иссяк. И сама эта звезда кажется иссохшей. И в пространстве,  
отделяющем тебя  
от пересохшего родника, дороги нет. А вон та звезда привела бы  
к неведомому  
оазису, который восхваляли кочевники, но дорога туда заказана:  
ее  
преграждают непокорные племена. И пески между тобою и тем  
оазисом – как  
заколдованная лужайка из сказки. Еще одна звезда ведет на юг,  
в белый город,  
он точно сладостный плод, так и тянет его отведать. А та ведет  
к морю.  
И наконец, магнитное поле пустыни порождают безмерно далекие,  
почти  
неправдоподобные полюсы: дом твоего детства, который и сегодня  
живет в  
памяти; друг, о котором только и знаешь, что он есть.  
И ощущаешь себя в силовом поле: есть силы пронизывающие,  
животворные,  
они тебя притягивают или отталкивают, льнут к тебе или  
сопротивляются. И  
стоишь на земле твердо, уверенно и надежно, в самом средоточии  
важнейших  
путей и направлений.  
Пустыня не дарит осязаемых богатств, здесь ничего не видно и  
не слышно,  
а меж тем внутренняя жизнь не слабеет, напротив, становится  
еще насыщенной,  
и волей-неволей убеждаешься, что человеком движут прежде всего  
побуждения,

которых глазами не увидишь. Человека ведет дух. В пустыне я  
стою ровно  
столько, сколько стоят мои божества.

Так вот, если на борту того печального корабля я чувствовал,  
что богат  
и еще не утратил живительных связей, и еще не вымерла моя  
планета, – то лишь  
потому, что далеко позади, затерянные в ночи, окутавшей  
Францию, у меня  
оставались друзья, и я начал понимать: без них я не существую.  
Конечно же Франция была для меня не бесплотным божеством и не  
историческим понятием, но живой плотью и опорой моей, сетью  
связей, которые  
направляли мою жизнь, системой магнитных полюсов, к которым  
тяготело мое  
сердце. И мне необходимо было чувствовать: они защищенной и  
долговечней, чем  
я, – те, кто мне нужен как путеводная звезда, чтобы не сбиться  
с дороги.  
Чтобы знать, куда возвратиться. Чтобы не согнуться.  
В этих-то людях и умещалась сполна и через них жила во мне моя  
родина.  
Так для мореплавателя суша воплощена всего лишь в свете  
нескольких маяков.  
По маяку не измеришь расстояния. Просто его свет стоит перед  
глазами. И в  
этой путеводной звезде – все чудеса далекой суши.  
И вот сегодня, когда Франция, теперь уже полностью захваченная  
врагом,  
затерялась в безмолвии со всем своим грузом, словно корабль,  
на котором  
погашены все огни и неизвестно, уцелеет ли он среди бурь, –  
сегодня судьба  
тех, кого я люблю, терзает меня куда сильнее, чем любой  
одолевающий меня  
недуг. Оказывается, само бытие мое в опасности оттого, что мои

любимые так

беззащитны.

Тому, о ком так тревожно сегодня ночью твердит мне память,  
пятьдесят

лет. Он болен. И он еврей. Уцелеет ли он среди ужасов немецкой  
оккупации?

Чтобы представить себе, что он еще дышит, мне надо верить:  
захватчики о нем

не подозревают, его укрыла надежная крепость – молчание  
крестьян приютившей

его деревни. Тогда лишь я верю – он еще жив. Тогда лишь,  
далекий скиталец в

необъятных владениях его дружбы, я могу чувствовать себя не  
эмигрантом, но

путешественником. Ибо пустыня совсем не там, где кажется. В  
Сахаре

несравнимо больше жизни, чем в столице, и людный город, полный  
суеты, – та

же пустыня, если утратили силу магнитные полюсы жизни.

### III

Как же творит жизнь то силовое поле, которым мы живы? Откуда  
она, сила

тяготения, которая влечет меня к дому друга? В какие решающие  
мгновенья стал

он одним из полюсов, без которых я себя не мыслю? Из каких  
неуловимых

событий сплетаются узы вот такой неповторимой нежности и через  
нее – любовь

к родной стране?

Нет, подлинные чудеса не шумны. И самые важные события очень  
просты.

Случай, о котором я хочу рассказать, так неприметен, что мне  
надо вновь

пережить его в воображении, надо говорить с тобою, друг мой.

Тот день, незадолго до войны, мы провели на берегу Соны, возле

Турню.

Позавтракать решили в ресторанчике, дощатая веранда его выступала над рекой.

Мы уселись за простой деревянный стол, изрезанный ножами посетителей, и

спросили два перно. Врач запретил тебе спиртное, но в особых случаях ты

плутовал. А это, конечно, был случай особый. Мы сами не знали почему, но так

уж оно было. Мы радовались чему-то столь же неосязаемому, как плоть

светового луча. И ты решился выпить праздничный стаканчик перно. А в

нескольких шагах от нас два матроса разгружали барку, и мы предложили им

выпить с нами. Мы окликнули их сверху, с веранды. И они пришли. Просто взяли

и пришли. Так естественно было их позвать – наверно, как раз потому, что в

душе у нас, неизвестно отчего, был праздник. Конечно же они не могли не

отозваться. Итак, мы чокнулись!

Пригревало солнце. Теплым медом оно омывало тополя на другом берегу и

равнину до самого небосклона. Нам становилось все веселей, а почему – бог

весть. Но так надежно, без обмана светило солнце, и текла река, и трапеза

наша была настоящей трапезой, и матросы пришли на зов, и служанка подавала

нам так весело, приветливо, словно возглавляла празднество, которому не

будет конца. Ничто не нарушало наш покой, от хаоса и смятения нас защищали

прочные устои цивилизации. Мы вкусили некоего блаженства, казалось – все

мечты сбылись и не осталось желаний, которые можно бы поверять

друг другу.

Мы чувствовали себя чистыми, прямодушными, мудрыми и снисходительными. Мы бы

не сумели объяснить, что за истина открывалась нам во всей своей

очевидности. Но нами владела необычайная уверенность.

Уверенность почти

гордая.

Так сама Вселенная через нас являла свою добрую волю.

Уплотнялись

звездные туманности, отвердевали планеты, зарождались первые амебы,

исполинский труд жизни вел от амебы к человеку – и все так счастливо

сошлось, чтобы через нас завершиться этой удивительной радостью. Право же,

это настоящая удача.

Так мы наслаждались – мы без слов понимали друг друга, и наш пир

походил на священнодействие. Служанка, словно жрица, скользила взад и

вперед, ее движения убаюкивали нас, мы чокались с матросами, точно

исповедовали одну и ту же веру, хоть и не сумели бы ее назвать. Один из

матросов был голландец. Другой – немец. Когда-то он бежал от нацизма, в

Германии его преследовали за то, что он был коммунист, а может быть,

троцкист, или католик, или еврей (уже не помню, какой ярлык стал поводом для

травли). Но в тот час матроса не определял никакой ярлык. Важна была

сущность. Тесто, из которого слеплен человек. Он был просто друг. И всех нас

соединило дружеское согласие. Ты был в согласии с нами со всеми. И я тоже. И

матросы, и служанка. О чем мы думали так согласно? О стакане перно? О смысле жизни? О том, какой славный выдался день? Мы бы и это не сумели высказать словами. Но согласие наше было столь полным, столь прочным и глубоким, покоилось на законах столь очевидных в своей сути, хоть их и не вместить в слова, что мы готовы были бы обратить этот деревянный домишко в крепость, и выдержать в нем осаду, и умереть у пулемета, лишь бы спасти эту суть. Какую же суть?.. Вот это как раз и трудно объяснить! Боюсь, что я сумею уловить не главное, а только отблески. Нередко слова бессильны, и, пожалуй, истина ускользнет. Не знаю, поймут ли меня, скажу одно: мы бы охотно пошли в бой, лишь бы спасти нечто в улыбке матросов, и твоей, и моей, и в улыбке служанки, спасти чудо, сотворенное солнцем, которое неустанно трудилось миллионы лет – и победным завершением его трудов стала эта наша совсем особенная улыбка. Самое важное чаще всего невесомо. Здесь как будто всего важней была улыбка. Часто улыбка и есть главное. Улыбкой благодарят. Улыбкой вознаграждают. Улыбкой дарят тебе жизнь. И есть улыбка, ради которой пойдешь на смерть. Эта особенная улыбка освобождала от гнетущей тоски наших дней, оделяла уверенностью, надеждой и покоем, – вот почему, чтобы верней выразить мою мысль, я не могу не рассказать еще об одной улыбке.

#### IV

Это случилось в Испании, я там был корреспондентом в дни гражданской войны. Часа в три ночи я опрометчиво явился безо всякого разрешения на товарную станцию посмотреть, как грузят секретное оружие. В полутьме, в суете погрузки моя дерзость, пожалуй, осталась бы незамеченной. Но я вызвал подозрения у ополченцев-анархистов. Все вышло очень просто. Я и не слышал, как они, мягко, бесшумно ступая, окружили меня и вот уже обступили вплотную, будто сжалась осторожная рука. Дуло карабина легонько уперлось мне в живот, и молчание показалось мне торжественным. Наконец я догадался поднять руки. Я заметил, что они пристально смотрят не в лицо мне, а на мой галстук (мода анархистского предместья не одобряла подобных украшений). И невольно съезжился. Я ждал выстрела – в те времена суд был скорый. Но выстрела не последовало. Несколько мгновений совершенной пустоты, все замерло, только грузчики двигались словно в каком-то неправдоподобном танце, где-то в ином мире... а затем мне кивком велели идти вперед, и мы не спеша зашагали через рельсы сортировочной станции. Меня захватили в полном безмолвии, без единого лишнего движения. Так действуют обитатели морских глубин. Вскоре я очутился в подвале, где размещался теперь сторожевой пост. При чахлом свете убогой керосиновой лампы сидели еще ополченцы и дремали, зажав

между колен карабины. Они равнодушно, вполголоса перекинулись несколькими  
словами с моими провожатыми. Один из них меня обыскал.  
Я говорю по-испански, но каталанского не знаю. Все же я понял, что у  
меня спрашивают документы. А я забыл их в гостинице. Я ответил:  
«Гостиница... Журналист...» – но совсем не был уверен, что меня понимают. Из  
рук в руки переходила улика – мой фотоаппарат. Кое-кто из ополченцев,  
которые прежде зевали, устало обмякнув на колченогих стульях, теперь  
скуучливо поднялись и прислонились к стене.  
Да, всего отчетливей здесь ощущалась скука. Скука и сонливость. У этих  
людей словно уже не осталось сил хоть к чему-то отнестись со вниманием.  
Пусть бы уж они смотрели враждебно, все же и это – подобие человеческих  
отношений. Но меня не удостаивали ни малейшим знаком гнева или хотя бы  
неодобрения. Несколько раз я по-испански пытался протестовать. Все протесты  
канули в пустоту. Слова мои не вызвали никакого отклика, на меня смотрели  
как на рыбешку за стеклом аквариума.  
Они ждали. Чего они ждали? Возвращения кого-то из своих? Рассвета? Я  
говорил себе: «Может быть, они ждут, когда захочется есть...»  
И еще я говорил себе: «Экая будет глупость! Это же просто нелепо!..»  
Куда сильнее тревоги было во мне другое чувство – отвращение к этой  
бессмыслице. Я говорил себе: «Сейчас они очнутся, захотят действовать, и  
меня пристрелят!»

Грозил ли мне и вправду опасность? Вправду ли они все еще не понимали, что я не диверсант и не шпион, а журналист? Что документы мои остались в гостинице? Решили они уже, как со мной поступить? Что они решили? Я знал о них только одно: они ставят к стенке без особых угрызений совести. Застрельщики любых переворотов, к какой бы они партии ни принадлежали, преследуют не людей (человек сам по себе в их глазах равно ничего не значит) – они ищут симптомы. Истина, несогласная с их собственной, представляется им заразной болезнью. Заметив подозрительный симптом, носителя заразы отправляют в карантин. На кладбище. Оттого таким зловещим казался мне этот допрос – опять и опять мне бросали односложные непонятные слова, и я не знал, о чем они. Шла игра вслепую, и ставкой была моя шкура. И еще от этого мне неодолимо захотелось доказать им, что я живой, настоящий, крикнуть что-то о себе, подтвердить подлинность моей судьбы какой-то весомой приметой. Хотя бы – сколько мне лет. Возраст – это не шутка! Он вмещает всю твою жизнь. Зрелости достигаешь так медленно, постепенно. Пока ее достигнешь, придется одолеть столько преград, излечиться от стольких недугов, столько превозмочь горя, столько победить отчаяния, столько опасностей избежать, – а львиную долю их ты даже и не заметил. Зрелость рождается из стольких желаний и надежд, из стольких сожалений,

забвения и  
любви. Твой возраст – какой же это груз опыта и воспоминаний!  
Наперекор всем  
препонам, ухабам и рытвинам, худо ли, хорошо ли, с грехом  
пополам движешься  
вперед, словно надежный воз. И вот благодаря сцеплению многих  
счастливых  
случайностей ты чего-то достиг. Тебе уже тридцать семь. И даст  
бог, надежный  
воз повлечет груз воспоминаний еще дальше. Итак, я говорил  
себе: «Вот к чему  
я пришел. Мне тридцать семь лет». Мне хотелось обременить моих  
судей столь  
весомым признанием... но меня больше ни о чем не спрашивали.  
И тогда свершилось чудо. То было чудо очень скромное. Я не  
захватил с  
собой сигарет. И когда один из моих стражей закурил, я, сам не  
знаю отчего,  
слегка улыбнулся и знаком попросил у него сигарету. Сперва он  
потянулся,  
медленно провел рукой по лбу, поднял глаза, посмотрел уже не  
на мой галстук,  
а мне в лицо – и, к моему немалому изумлению, тоже чуть  
улыбнулся. Это было  
как первый луч рассвета.  
Чудо это не стало развязкой драмы, оно просто рассеяло ее –  
так свет  
рассеивает тьму. И драмы как не бывало. С виду ничто не  
переменилось. Убогая  
керосиновая лампа, бумаги, раскиданные на столе,  
прислонившиеся к стене  
люди, краски, запахи – все оставалось прежним. И однако, все  
преобразилось в  
самой своей сути. Эта улыбка дала мне свободу. Это был знак  
столь же  
несомненный, столь же ясно предвещал он череду событий и столь  
же был

необратим, как восход солнца. Он открывал новую эру. Все оставалось по-старому – и все стало иным. Стол с беспорядочно раскиданными бумагами ожил. Ожила керосиновая лампа. Ожили стены. Будто некое волшебство развеяло скуку, которую источала в этом подземелье каждая мелочь. Словно сызнава потекла по жилам незримая кровь, связуя все здесь воедино и всему возвращая смысл.

И те, кто был в комнате, не шелохнулись, но еще мгновение назад они мне казались непостижимо далекими, словно допотопные чудища, – и вот возрождались к жизни близкой и понятной. С необыкновенной остротой я ощутил: все мы люди! Все мы живые! И я им сродни.

Юноша, который мне улыбнулся, только что был всего лишь исполнителем, орудием, частицей какого-то чудовищного муравейника – и вот, оказывается, он немного неловок, почти застенчив, и застенчивость эта полна обаяния. Едва ли этот террорист был менее груб, чем любой другой. Но в нем проснулся человек – и сразу стало ясно, что где-то в душе он беззащитно мягок!

Мы, люди, так часто напускаем на себя неколебимую суровость, но втайне каждый изведал и колебания, и сомнения, и скорбь...

Ничего еще не было сказано. И однако, все было решено. Анархист протянул мне сигарету, а я благодарно положил руку ему на плечо. И теперь, когда лед был сломан, другие ополченцы тоже снова стали людьми, и я вступил

в круг их улыбок, точно в раскрывшуюся передо мной привольную страну.

Я погружался в их улыбки, как когда-то – в улыбки наших спасителей в

Сахаре. Товарищи искали нас несколько дней и наконец отыскали, приземлились

как можно ближе, и шли к нам широким шагом, и размахивали руками, чтобы мы

издалека увидели: они несут нам бурдюки с водой. Улыбка спасителей, когда я

терпел аварию, улыбка потерпевших аварию, которых спасал я, тоже

вспоминается мне словно родина, где я был безмерно счастлив.

Подлинная

радость – это радость разделенная. И, спасая людей, находишь эту радость.

Вода обретает чудодейственную силу, лишь когда она – дар сердца.

Заботы, которыми окружают больного, убежище, дарованное изгнаннику,

даже прощение вины только тогда и прекрасны, когда праздник этот озаряет

улыбка. Улыбка соединяет нас наперекор различиям языков, каст и партий. У

меня свои обычаи, у другого – свои, но мы исповедуем одну и ту же веру.

## V

И разве эта совсем особенная радость – не самый драгоценный плод нашей

культуры? Материальные наши нужды могла бы удовлетворить и тоталитарная

тирания. Но мы не скот, который надо откармливать. Нас не насытишь

благополучием и комфортом. Воспитанные в духе уважения к человеку, мы

превыше всего ценим простые встречи, что превращаются порой в чудесные празднества...

Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Вот он, пробный камень!

Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает только самого себя.

Он отвергает противоречия – основу созидания, а стало быть, разрушает всякую

надежду на движение к совершенству и взамен человека на тысячу лет

утверждает муравейник роботов. Порядок ради порядка оскопляет человека,

отнимает у него важнейший дар – преображать и мир, и самого себя. Порядок

создается жизнью, но сам он жизни не создает.

А нам, напротив, кажется, что движение наше к совершенству еще не

закончено, что завтрашняя истина питается вчерашними ошибками и преодоление

противоречий – единственно плодородная почва, на которой возможен наш рост.

Мы признаем своими и тех, кто с нами несхож. Но какое это своеобразное

родство! Его основа – не прошлое, но будущее. Не происхождение, но цель.

Друг для друга мы – паломники и долгими, разными и трудными путями стремимся

к месту встречи.

Но вот сегодня уважение к человеку – условие, без которого нет для нас

движения вперед, – оказалось в опасности. Катастрофы, сотрясающие ныне мир,

погрузили нас во тьму. Перед нами запутанные задачи, и решения их

противоречивы. Истина вчерашняя мертва, истину завтрашнего дня надо еще

создать. Единого решения, приемлемого для всех, пока не видно, в руках у каждого из нас лишь малая толика истины. Политические верования, которым недостает явной для всех правоты, чтобы утвердиться, прибегают к насилию.

Так мы расходимся в выборе средств – и рискуем забыть, что стремимся мы к одной и той же цели.

Если путник, взбираясь в гору, слишком занят каждым шагом и забывает сверяться с путеводной звездой, он рискует ее потерять и сбиться с пути.

Если он просто переставляет ноги, лишь бы не застыть на месте, он никуда не придет. Прислужница в храме, чересчур озабоченная сбором платы за стулья, рискует позабыть, что она служит Богу. Так и я, увлекшись политическими разногласиями, рискую забыть, что политика лишь тогда имеет смысл, когда она помогает раскрыть духовную сущность человека. В счастливые наши часы мы извели чудо подлинно человеческих отношений – и в них наша истина.

Какими бы насущно необходимыми ни казались нам наши действия, мы не вправе забывать, во имя чего действуем, иначе действия наши останутся бесплодными. Мы хотим утвердить уважение к человеку. Мы в одном стане – зачем же нам ненавидеть друг друга? Никто из нас не вправе себе одному приписать чистоту помыслов. Во имя пути, который я избрал, я могу отвергнуть путь, избранный другим. Я могу оспаривать ход его мысли. Ход мысли не всегда

верен. Но если человек стремится к той же звезде, мой долг – его уважать,  
ибо мы братья по Духу.  
Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если в сердцах людей  
заложено уважение к человеку, люди в конце концов создадут такой  
общественный, политический или экономический строй, который  
вознесет это  
уважение превыше всего. Основа всякой культуры прежде всего –  
в самом  
человеке. Прежде всего это присущая человеку слепая,  
неодолимая жажда тепла.  
А затем, ошибаясь снова и снова, человек находит дорогу к  
огню.

## VI

Вот потому-то, друг мой, мне так нужна твоя дружба. Мне, как  
глоток  
воды, необходим товарищ, который, поднимаясь над спорами,  
рожденными  
рассудком, уважает во мне паломника, идущего к этому огню. Мне  
так нужно  
хоть изредка заранее вкусить обетованного тепла, немного  
подняться над собой  
и отдохнуть на высотах, где мы непременно встретимся.  
Я так устал от словесных распрей, от нетерпимости, от  
фанатизма! К тебе  
я могу прийти, не облачаясь в какой-  
либо мундир, не подчиняясь заповедям какого бы то ни было  
корана, ни в  
какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед  
тобой мне нет  
нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать; с тобой я  
обретаю  
душевный мир, как тогда в Турню. За моими неуклюжими словами,

за

рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто

Человека. Ты чтишь во мне посланца тех верований, привычек и пристрастий,

которых, может быть, и не разделяешь. Если я чем-то на тебя не похож, я этим

вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю. Ты расспрашиваешь меня, словно

путешественника.

Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли, в тебе я чувствую себя

чистым – и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким,

какой я есть, вовсе не по моим рассуждениям и поступкам. Нет, ты принимаешь

меня таким, какой я есть, и потому, если надо, примиришься и с моими

рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня

вот таким, какой я есть. Зачем мне друг, который меня судит? Если меня

навестил друг и если он хромает, я сажаю его за стол, а не требую, чтобы он

пустился в пляс.

Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, где вольно дышится! Мне

нужно еще раз сесть с тобою рядом на щелястой деревянной веранде скромной

гостиницы на берегу Соны, и позвать к нашему столу двух матросов, и

чокнуться с ними в мирном свете улыбки, подобной восходу солнца.

Если я еще смогу вернуться в строй, я буду сражаться и за тебя. Ты мне

нужен, чтобы тверже верилось: он еще настанет, час той улыбки. Мне нужно

помогать тебе жить. Я вижу тебя – ты так слаб, тебе грозит  
столько  
опасностей, нелегко тебе в пятьдесят лет, дрожа от холода в  
изношенном  
пальтишке, долгие часы стоять в очереди у какой-нибудь убогой  
лавчонки,  
чтобы кое-как протянуть еще день. Ты француз до мозга костей,  
и я знаю,  
смерть грозит тебе вдвойне: за то, что ты француз, и за то,  
что ты еврей. Я  
знаю цену общности, которая отвергает распри. Все мы –  
Франция, мы ветви  
одного дерева, и я буду служить твоей истине, как ты служил бы  
моей. Мы,  
французы, которые оказались вне Франции, призваны в этой войне  
освободить  
из-под ледяной толщи посева, стынущие под гнетом немецкого  
нашествия. Мы  
призваны помочь вам, оставшимся во Франции. Призваны  
возвратить вам свободу  
на французской земле, ибо здесь ваши корни, и ваше  
неотъемлемое право –  
здесь оставаться. Вас сорок миллионов, и все вы – заложники.  
Новые истины  
всегда вызревают под гнетом во мраке подземелий: там, во  
Франции, в сознании  
сорока миллионов заложников рождается сейчас новая истина. И  
мы заранее  
покоряемся этой истине.  
Ибо вы укажете нам путь. Не нам нести духовное пламя тем, кто,  
словно  
воск свечи, уже питает это пламя всем своим существом. Быть  
может, вы не  
станете читать наши книги. Быть может, не станете слушать наши  
речи. Быть  
может, отвергнете наши мысли. Сейчас не мы создаем Францию. Мы  
только можем

ей служить. Что бы мы ни делали, мы не вправе ждать благодарности. Не измерить одной мерой свободу битвы и гнет во тьме порабощения. Не измерить одной мерой ремесло солдата и ремесло заложника. Вы – святые.

(Голосов: **1**. Рейтинг: **5,00** из 5)

Загрузка...